При чем тут девочка?

Автор:
Дина Рубина

При чем тут девочка?

Дина Ильинична Рубина

На солнечной стороне

Тема детства и юности в творчестве Дины Рубиной лишена ностальгической сентиментальности, наоборот – сопряжена с драмой и горечью. «Любой мало-мальски чувствующий человек подтвердит вам, что нет ничего печальнее счастливого детства. Разве что отрочество». Писатель никогда не включает в книги свои ранние опусы о детстве, многие из которых были опубликованы в «Юности». Переиздания удостаиваются лишь некоторые. В зрелом возрасте Дина Рубина редко обращается к этой теме в силу ее болезненности, у нее очень мало вещей, в которых действуют подростки. Тем интереснее этот сборник, в котором соединились произведения о детстве и юности разных периодов.

Рубина Дина

При чем тут девочка?

Предисловие

Нет ничего печальнее детства.

Разве что отрочество…

Любой мало-мальски чувствующий человек подтвердит вам, что нет ничего печальнее счастливого детства. Разве что отрочество, когда душа уже требует к священной жертве, а ее никто не принимает в расчет: ни родители, ни учителя. И тогда пленный дух начинает, как говорила моя бабка, «выкидывать фортеля», ибо пленный этот дух знает настоящую цену истинным вещам – дружбе, любви, самоотверженности. Цена эта высока…

Я никогда не включаю в сборники рассказов первые свои опусы, опубликованные в журнале «Юность». Даже не потому, что они не представляют литературной ценности. Просто этот торжествующий щенячий визг надо оставить там, на страницах моей подростковой самоуверенности и упоенности победой.

И только когда пришла ко мне первая неудача – несчастная, как и положено ей, юношеская любовь; когда в моих текстах появилась насмешка по отношению к себе и необходимая дистанция между авторским «я» и окружающим миром, – только тогда мои ранние рассказы и повести заслужили, на мой взгляд, читательское внимание…

Очень трудно писать о взрослеющей, беззащитной и в то же время жестокой человеческой душе. Я часто вспоминаю свои подростковые годы – ужасные, мучительные, – когда не имеет особого значения, благополучна ли твоя семья и любят ли тебя родители. Просто на тебя наваливается мир, и ты должен выстоять в одиночку. А мир – это ведь не только люди, это и бегущие облака, что летят в никуда прямо через твое сердце, и оперенные весной деревья, названий которых ты еще не знаешь, и впервые увиденный водопад, и смерть бабушки или деда, и расставание близких, и жестокая дворовая драка… Это явление густого потока жизни, который взрослые, любимые и оберегающие тебя люди уже не в силах для тебя отфильтровать, очистить так, чтоб остались лишь красота, любовь, смелость и справедливость. Это первые уроки противостояния личности – обществу.

Я так болезненно вспоминаю свое взросление, что очень редко оборачиваюсь на подростковые годы; у меня очень мало вещей, в которых действуют подростки. Но есть у меня один рассказ, «Посох Деда Мороза», в действие которого просто просился юный человек.

Дело было так: однажды мой старый друг режиссер Станислав Митин, посмеиваясь, рассказал историю своего давнего, еще в студенческие годы,

выступления на Новый год в пионерлагере в роли Деда Мороза. Это была одна из тех забавных актерских баек, что легко рассказываются в застолье и так же быстро и легко забываются.

Но эта байка засела в голове, что-то в ней было: молодость моего друга, глубокий снег, густой лес, расстояние в двадцать лет, отделяющее нас от того времени… Все это само по себе вызывало ностальгическую грусть. Однако для написания рассказа явно не хватало того гвоздя, смыслового околышка, на котором обычно держится действие и внимание читателя… И в какой-то момент я поняла, чего не хватает хорошей доброй истории: вот этого самого отчаянного противостояния миру, этой заветной мечты, ради которой пойдешь на все; юной безоглядной влюбленности и огромной неизвестной жизни, что расстилается перед тобой на трудном переходе из детства в юность. Так возникла рыженькая героиня-подросток рассказа «Посох Деда Мороза», и все сложилось: и снег, и юность, и новогодняя ночь…

И рассказ написался.

Дина Рубина

Орфей и Эвридика[1 - Отрывок из романа Д. Рубиной «Наполеонов обоз». Книга I: «Рябиновый клин».]

Осенью парк пузырился желто-ржавыми кронами, а в одной своей части изумительно пламенел: там от края рябиновой аллеи сам собой образовался багряный рукав рябин, уж точно никем не запланированный. Место необычное, ведь рябиновая роща – довольно редкое в природе явление. Да и никакая не роща это, а просто рябиновый клин, алый от кровавых ягод.

* * *

С рябиновым клином у Сташека была связана тайна: та девочка. Эта картина двигалась, кружилась, мчалась потом всю его жизнь – то в непрошеных снах, то, наоборот, в вымоленном у памяти воспоминании. Бегущая девочка возникала на

закате дня: длинноногая, легкая, рыжая, в буре алых рябиновых брызг и солнечных пятен. Низкое солнце стояло за рощей, прошивая всю ее насквозь, весь тонконогий рябиновый клин, с его парящими в воздухе крапчато-огненными гроздьями ягод…

Она и возникла в глубине рябинового клина, та девочка; выбежала из него прямо на Сташека, не сбавив ходу ни на миг, и рыжие волосы летели за ее спиной каким-то отдельным живым течением. Подбежала, будто долго-долго мчалась именно к нему и вот домчалась, допрыгнула, конец пути. Дышала бурно и как-то радостно. От нее пахло одуряюще сладко, терпко, прелестно: кора и трава, нагретая, влажная от девчачьего пота кожа. Она раскрыла кулак, ткнула ему в лицо:

– Зырь!

В кулаке у нее извивалась змейка. Сташек отшатнулся: он ненавидел змей, не понимал, как можно не то что прикасаться к ним, а смотреть, наблюдать это тошнотворно-склизкое движение. Он отпрянул, и девчонка захохотала.

– Слабо! – выкрикнула торжествующе. Закатное солнце венчало ее растрепанную шевелюру пылающим нимбом. – А я ни фига не боюсь. Я могу ее даже слопать. Вот, гляди!

Схватила за хвост – змейка мучительно извивалась – и медленно, кося на мальчишку бешеным золотисто-пчелиным глазом, понесла ее ко рту. Тут Сташек чуть сознание не потерял. Повернулся и бросился прочь незнамо куда, а за ним несся такой звонкий, заходящийся рыжий смех, что в ушах звенело.

Позорная для парня история…

Он не спал всю ночь, то ли от стыда, то ли… бог знает – от чего еще. Пропотел, как в болезни, когда мама, бывало, дважды за ночь меняла простыни. Но девочка (про себя Сташек назвал ее Огненная Пацанка) все выбегала и выбегала к нему из рябинового клина, раскрывала ладонь, в которой извивался змееныш, почему-то не причиняя пацанке никакого вреда.

Он выждал дня три, испепеляемый ночными сладкими кошмарами, извелся, представлял, как пацанка хохочет… Надо ли было наступить на это «слабо»

и невозмутимо принять в ладонь скользкий жгут новорожденной змеи? Или отколотить насмешницу, чтобы запомнила на всю жизнь? Наконец против собственной воли пошел – странно! – искать ее среди пылающих рябин. Будто она могла там жить, будто принадлежала той алой россыпи ягод; будто была внучкой лешего и немедленно отозвалась бы, позови ее Сташек с края опушки… Разумеется, никого не встретил. Ветер тихо покачивал пунцовые грозди, перебирал ими, шелестел. Никого…даже отзвука ее издевательского смеха не донеслось…

Второй раз он увидел Огненную Пацанку из рябинового клина – ту самую, заклинательницу змей… – на дне рождения Зины Петренко. Увидев ее, чуть не выронил футляр с инструментом; сердце забилось в горле, в животе… даже в пятках! Он так испугался, что она опять исчезнет! Там же, в прихожей, потянув Зинку за рукав блескучей зеленой кофты, яростным шепотом заставил все выложить: как зовут, где живет, где учится…

Оказывается, девочки пели обе в группе сопрано, в хоре при желдорклубе. Знал он, конечно, и школу – двухэтажное здание бурого кирпича с мезонином, и улицу знал, где пацанка живет: улица Киселева, на ней бывшая дача Сенькова стоит. Она столько раз выбегала к нему из пламенеющего рябинового заката и во сне, и в измученном воображении, что даже не верилось: неужели она живет на обычной улице и учится в обычной школе?

И звали пацанку совсем неподходящим ей благонравным именем Надежда.

Она и выглядела иначе, не по-лесному, не по-разбойному: волосы заплетены в толстую косу, да так изобретательно: мелкие косички начинались от висков (отчего ее горячие, золотисто-карие глаза, похожие на спинки пчел, слегка натягивались кверху) и струями вплетались в две другие косы, потолще, а те – уже вливались в пятую, главную пушистую косу, которая кренделем улеглась на затылке, сверкая рябиновым огнем под брызгами трофейной петренковской люстры. Вокруг белого выпуклого лба рыжие спиральки волос вились воздушной короной, а по бокам легкими кружевными бабочками сидели пестрые сине-зеленые заколки, явно рукодельные: будто и впрямь живые бабочки присели на подсолнух.

Сташек был ошеломлен, подавлен и даже обижен – ее ростом. Куда она рванула, думал он в отчаянии, это ж надо – двенадцать лет, а росту чуть не метр семьдесят, во дылда! Гости как раз рассаживались, и из прихожей видно было, какая она высокая – даже когда сидит. По левую руку к ней подозрительно прижимался Кифарь – Леха Кифарев, длинный и красивый гад из его школы, хотя за столом и вправду было тесновато – ребята сидели, не особенно шевеля локтями. Тетя Клара, – она вечно изрекала какие-то мозолистые поговорки или строки из своих протухших романсов, – ходила вдоль стола, раздавая всем салфетки и повторяя как попугай: «В тесноте, да не в обиде!».

Из-за того, что Сташек немного опоздал и замешкался, выбирая надежное место – куда положить футляр с рожком, чтоб никто случайно не смахнул (уложил на полку буфета), ему достался низкий табурет на другом конце стола. Что было делать и как избежать позора: есть стоя? идти искать по дому нормальный стул? или так и сидеть, как карлик, высунув макушку над столом? Он никак не мог решить. Так и остался стоять с тарелкой в руке, якобы задумавшись – что из салатов выбрать. И когда Зина, именинница, попросила его передать Надежде кусок запеканки, он осторожно принял тарелку, благодарный Зине за эту мимолетную связь, протянул через стол Надежде… – в тот момент она что-то говорила Лехе; мочка уха, алая напросвет, рдела бусинкой гранатовой серьги, как рябиновой ягодой… – и хрипло окликнул:

– Эй, дылда! Вот, бери…

Она удивленно обернулась, вдруг узнала его, вспыхнула – это было мгновение, которое потом они обсуждали не раз («А ты сразу узнала?» – «Да меня как паром окатило, ты что!» – «Нет, а я чуть не умер: ты запылала, как тогда в роще, ты ж не видишь себя, рыжие-то горят, и меня точно бревном зашибло…»).

В голове, в груди у него мигом раздулось солнце, он разом вырос и сверху глядел на пигмея Леху, на весь туманный, заставленный салатницами-тарелками-противнями с пирогами стол, на обочине которого пламенела красным золотом ее увитая косами голова.

Больше всего на свете ему захотелось сыграть для нее. Только для нее и сейчас же, немедленно! Он уже играл не только в составе оркестра, но и солировал в некоторых вещах, которые когда-то они с Верой Самойловной переписали за

чайным столиком у Сулы в Ленинке и потом переложили для английского рожка. Когда Вера Самойловна показывала ему палочкой, он делал вдох, облизывал губы и вступал – издалека, восхитительно и вкрадчиво, останавливая в зале воздух, вышивая в нем безыскусный трепетный узор мелодии.

Не таким уж разнообразным был его репертуар. Но коронным номером, коньком была «Мелодия» Глюка из оперы «Орфей и Эвридика». Старуха Баобаб давно заставила его прочитать замшелые «Мифы и легенды Древней Греции» и, обсуждая очередную диковатую историю из этой книги, приплетала еще кучу убойных фактов, неизвестно откуда ею добытых. Голова ее была просто напичкана разными сведениями, а Древняя Греция подразумевалась чуть ли не родиной всех человеков. Между прочим, Вера Самойловна не раз и повторяла, что эта самая Древняя Греция – Родина Мировой Культуры. Возьмем хотя бы историю о певце Орфее и его возлюбленной Эвридике. Понятно же, что это хрень, да еще когда сочиненная – тыщи лет назад! Но старуха говорила об Орфее так, будто чувак существовал на самом деле, его семиструнную арфу описывала в таких подробностях, точно сделал ее краснодеревец Илья Ефимыч на прошлой неделе. «Он приделал еще две струны, по одной с каждого боку, вот тут и тут – гениально просто! – и арфа стала девятиструнной, по числу муз». Последователей Орфея она называла «орфиками» и уверяла, что даже Пифагор – тот, который, «штаны на все стороны равны», – в своей геометрии якобы опирался на основы «орфической религии». А эта история с умершей Эвридикой и экспедицией Орфея в Аид…Ой, слушайте, думал Сташек, с тех пор столько любимых и великих людей на свете перемерло от самых разных ужасов, кого сейчас колеблет эта древняя девушка? Короче, сказочка про белого бычка, бодяга стопроцентная, но… почему-то… едва он брал в руки инструмент и подносил к губам, и выдувал первую протяжную ноту… всё внутри полнилось вибрацией и волнением, и абсолютной верой в то, что Орфей играл перед ужасным владыкой Аида именно эту мелодию, играл, мечтая вывести Эвридику живой из погребальной тьмы.

– Почему же он обернулся? – спросил однажды раздосадованный Сташек, прерывая игру и опустив рожок. – Знал ведь, что нельзя! Он что, придурок? Дотерпеть не мог?!

– Не мог, – просто сказала Баобаб, ничуть не раздражаясь внезапно прерванным исполнением. И руками развела: – Та же сила любви, что погнала Орфея в ледяную пасть Аида, заставила его обернуться. «Ибо сильна как смерть любовь» – это, милый мой, уже из другой книги. Ты помнишь: все это с тобой

произойдет.

Сейчас надо было скорее сыграть «Мелодию» для Пацанки, пока Кифарь не успел со своим идиотским ростом, своими примитивными шуточками втереться, вползти к ней в душу и расположиться там, как у себя дома… Сташек вскочил, пробираясь к буфету, где на полке между миской студня и тарелкой с пирожками лежал футляр с его английским рожком и в стакане с водой стояли наготове две трости. Не говоря ни слова, не обращая внимания на шум, смех и разговоры за спиной, быстро собрал, свинтил инструмент, надел трость на эс, проверил клапаны, повернулся, вдохнул и – первый же звук властно и печально прорезал воздух… завис над головами, над столом…

…Он так волновался, что играл превосходно, как никогда; Вера Самойловна в таких случаях говорила: «Ну что ж, в пределах допустимого»… Она была бы довольна. Никогда прежде – ни на экзаменах, ни на концертах – ему не приходилось так собираться, так странно чувствовать себя: точно рвешься вон из собственной шкуры, в те же минуты ныряя в себя на такую чертову глубину, что спирает дыхание! Он только чувствовал, что никогда, никогда еще не играл так здорово! Это был первый стремительный бросок в его жизни, первый прорыв, когда на кон поставлено все. Откуда он знал, с чего вдруг решил, что девочке будет небезразлична его игра на странной дудке, эти смешные потуги лицом, вздергивание бровей – вообще вся эта уморительная на посторонний взгляд пантомима? ведь она могла оказаться любительницей спорта (и оказалась: к примеру, занималась плаванием, сильно опережая ровесниц). Просто в тот день впервые победно проявила себя главнейшая черта его характера: в решающий момент назначить себе цель и использовать самый короткий и самый ошеломительный путь для ее достижения. Угадал его Володя Пу-И, давным-давно угадал в щуплом мальке бойца: «Сила мужчины в том, чтобы в решающий момент напрячь все жилы души и тела». Сейчас, в эти мгновения, надо было напрячь все жилы души и своей музыкой, голосом рожка (выдохом-сердцем-языком-губами) смести все, что мешало, на пути к этой девочке.

Если бы кому-то пришло в голову поинтересоваться, чего он, собственно, добивается, Сташек вряд ли бы ответил, хотя с первой минуты понял, что угадал – по выражению ее сосредоточенного лица, по глазам, которые она не сводила с его рук, с его губ… а те говорили и говорили с ней голосом английского – ангельского – рожка. И пока звучал этот голос, так болезненно сливаясь с тем, что плыло и рдело перед его глазами, он чувствовал эту девочку, как себя: свои

подушечки пальцев, свой язык, нёбо, горло… и то неназываемое, что торжествующе дрожало внутри, окликая каждую частицу ее легкой плоти и требуя от нее немедленной готовности проникнуть, воплотиться, смешаться, сдышаться с ним; стать – им.

Когда он закончил, все зааплодировали: кто снисходительно, кто ободряюще, а тетя Клара закричала:

– Браво-браво, Аристарх! Какой чудесный подарок Зине! – и трескуче захлопала, и все опять следом за ней великодушно захлопали… Рыжая, не хлопая и не двигаясь (обе тихие ладони на столе), продолжала глядеть на него, как тогда, в рябиновом клину. Сташек ощутил изнеможение и счастье, крупный колокол бил в висках, в груди, в глубине живота…

Он отвернулся и, отойдя к буфету, медленно и тщательно принялся развинчивать и складывать инструмент в футляр… Снял с эса трость, выдул из нее влагу, аккуратно уложил в специальную коробочку (из-под маминых духов). Вдруг – по облаку запаха – ощутил присутствие за спиной Огненной Пацанки! Она подошла и молча стояла позади него (одуряющий аромат ее кожи перебивался какой-то мелкой досадой: идиотские цветочные духи, небось, у сестры выпросила, и напрасно!). Он обернулся. Подумал: во дела, она выше на целых полголовы! И так близко: голубые жилки на висках и на скуле, волосы промыты, как стекло, а родинка над губой – будто медом капнули, так и тянет слизнуть; и пчелиные золотистые глаза, и брови темно-золотистые, натянутые к вискам.

– Аристарх, – сказала она, явно впервые произнося это проклятое имя, но так легко, даже аристократично его выговаривая. – Ты играл… больно так! Прямо в сердце.

Подняла руку, собираясь то ли положить ему на плечо, то ли прижать к собственной груди и… опустила, явно заробев. Он педантично сложил инструмент в футляр (сейчас уже можно было не волноваться, не торопиться и навсегда не бояться никаких кифарей).

Все внутри у него сходилось и расходилось, как бешеная пьяная гармонь, – потому что эта рыжая девочка вся уже была у него внутри, и ему хотелось бежать – с ней внутри, вдыхая ее запах, – куда-нибудь, где нет никого, даже ее

самой, и там обхватить ее всю разом десятью руками и прижать к себе… к груди, к животу и… трогать ее всюду-всюду, и гладить… и без конца играть ей «Мелодию», слегка покачивая и медленно выводя, выводя ее на своей груди из гиблой пещеры забвения… Так вот что имела в виду Вера Самойловна, когда произнесла: «ибо сильна, как смерть, любовь». Вот почему Орфей обернулся!

Он обернулся к ней и быстро проговорил:

– Я женюсь на тебе… потом, когда… сразу!

И она поспешно и серьезно ответила:

– Хорошо.

Астральный полет души на уроке физики

В девятом классе, на уроке физики, я каким-то образом вылетела из окна и совершила два плавных круга над школьной спортплощадкой.

Но прежде надо кое-что объяснить…

В школе, где-то классе в четвертом, на одном из уроков я отвлеклась от учебного процесса на книгу Конан Дойла, которую не дочитала дома. Я благополучно проглотила ее за два урока, держа на коленях и осторожно перелистывая под партой страницы.

С этого дня я поняла, какая бездна свободного для чтения времени пропадает у меня даром. Я прозрела. Так иногда человек поднимает голову от исписанного листа и бросает взгляд в окно, где в акварельно размытом небе видит дрожащую нежную веточку, и замирает, и уже не в силах отвести усталого взора от этой простейшей весенней картинки.

Итак, я отвлеклась от учебного процесса и с того дня как бы отделилась от него. Мы мирно расстались. Учебный процесс существовал сам по себе, я же унеслась в иные пространства и болталась там без призору.

Весь класс натруженным маршем шагал по асфальтированному шоссе школьной программы, я сбежала на обочину, под откос, где в траве белеют кашки и желтеют одуванчики, да так и осталась там навсегда.

Успеваемость моя резко упала, и приблизительно с этого же времени мой хилый интеллект стал крепнуть. Я запоем читала на уроках. Ежедневно, с половины девятого до двух, я жила полнокровной жизнью – странствовала, спасалась от погони, трепетала от любовных объяснений и умирала от ножевой раны в груди.

Словом, школьную программу я запустила настолько, что даже и не пыталась решить что-то самостоятельно. На подсказках и списывании я медленно плыла к десятому классу, судорожно подгребая одной рукой, а другой держась за полупотопленное бревно дружеской помощи моих соучеников.

Жужжали, как пули, над ухом опросы. Где-то грохотала канонада четвертных и годовых контрольных… Я старалась списать побыстрее, чтобы открыть под партой очередную книгу, оставленную на сто сорок шестой странице… Это было бесстрашие идиота…

Думаю, если б в то время мной заинтересовался один из тех ныне многочисленных аспирантов, которые пишут диссертации по поводу восприятия школьниками учебной программы, то я бы представляла для него несомненный научный интерес. Полагаю, что изучение природы моего физико-математического кретинизма могло бы принести молодому ученому громкую славу.

Итак, в девятом классе на уроке физики я читала книгу немецкого профессора. Не хотелось бы уточнять ее название, дабы не бросать тень на мои чистые и светлые в ту пору устремления. Наоборот, хотелось бы связать то необычное, что произошло на этом уроке, с возвышенным и прекрасным, например с поэзией Баратынского, томик стихов которого, честное слово, лежал в это время в портфеле… Но, увы… Придется все-таки сказать, что книжка называлась «О половой жизни в семье». Книгу мне дала на два дня знакомая десятиклассница, которая, в свою очередь, взяла ее на неделю у одного знакомого студента.

Надо сказать, книга мне не нравилась. Даже в названии было что-то лицемерное. Старый немецкий профессор как бы подмигивал читателю и намекал, ухмыляясь: «Это, братцы… в семье! – а что бывает вне семьи, я вам

как-нибудь в другой раз расскажу, когда здесь не будет любознательных девятиклассниц…»

И вообще вся эта самая жизнь в семье выглядела очень благообразной и пристойной. Позже я поняла, чем отталкивала полезная книжка, – в ней почти не говорилось о любви. Речь шла о чистоплотности и воспитанности… Впрочем, я, конечно, не стану пересказывать содержание книжки, это попросту неинтересно.

Я с умеренным любопытством просматривала страницу за страницей, где, кстати, и картинки попадались – тоже неинтересные, медицинские, – пока не наткнулась на одну фразу. Я остановилась, потому что в этой фразе скрыто было некое противоречие: «Стройная девушка должна быть довольна своим бюстом».

Нет, давайте разберемся, подумала я. Этим вопросом я живо заинтересовалась, потому что совершенно искренне считала себя стройной девушкой, а говоря иными словами, была в ту пору тощим сутулым подростком. Этакая оглобля в очках.

Нет, давайте разберемся, подумала я… Значит, прежде всего ставится под сомнение бюст стройной девушки. Ставится под сомнение вообще факт его существования. Подразумевается следующее: «Уж если ты, бедняга, уродилась такая… стройная, и с бюстом у тебя не все в порядке, то помалкивай, хуже бывает. Люди и горбатыми, и хромыми родятся… Будь довольна тем, что имеешь».

Кроме всего прочего, слышалось в этой фразе что-то… фюрерское, что ли, вроде того, как «каждый немец должен быть доволен своим обедом». Я представила себе колонну стройных девушек, шагающих под транспарантом: «Я довольна своим бюстом!» Или так: они идут стройными рядами, и у каждой на груди, которой она, в сущности, довольна, висит плакат: «Я довольна своим бюстом!» А может быть, и так: мирная демонстрация стройных девушек у здания бундестага, и они дружно скандируют: «Мы! До! Воль! Ны!» – и так далее…

Это уже становилось забавным. Увлеченная собственным воображением, я сидела, подперев ладонью щеку, и, рассеянно улыбаясь, смотрела на нашего физика.

Собственно, смотрела я не на него, а в пространство. С таким же успехом я могла обласкивать своей улыбкой школьную доску или учебные пособия, потому что перед мысленным моим взором продолжали вышагивать колонны стройных девушек, поголовно довольных своим бюстом. Они маршировали, как солдаты, и было что-то завораживающее в их мерном шаге. Под ними железно цокала булыжная мостовая. Где-то я уже видела такую булыжную мостовую и шпили, вонзающиеся в застекленное мутное небо… Они проступали сквозь дымку все явственней, и все же хотелось рассмотреть их поближе и как бы… сверху. Увидеть картину всю, целиком. Узнать место действия…

Думаю, в эти минуты у меня и началось погружение в состояние того самого астрального полета души.

Но моя потусторонняя улыбка, уже оторванная от смысла бренной жизни и по случайной траектории направленная в нашего физика, не могла остаться незамеченной. Во всяком случае, моя душа, уже готовая к отлету, была задержана в теле грозным окриком:

«А?! Я спрашиваю. Чем ты так довольна?»

Потом ребята рассказывали, что физик по крайней мере трижды поинтересовался, чем это я так довольна, прежде чем моя почти отлетевшая душа приподняла из-за парты мое почти бесчувственное тело. Все-таки я успела деревянной коленкой подтолкнуть раскрытую книгу внутрь парты, но она поползла назад, так что мне пришлось стоять на одной ноге, приподняв под партой другую и поддерживая коленом проклятую книгу.

– А?! – ядовито переспросил физик. – Чем? Чем ты так довольна?

Нашего физика звали Аркадий Турсунбаевич, или просто – Турсунбаич, был он смугл, молод, плечист, и, кажется, этим исчерпывались его достоинства. В юности Турсунбаич занимался греблей на каноэ, ездил на соревнования, завоевывал призы родному физтеху. Неизвестно, каким шалым ветром занесло его в педагогику. Похоже, он и сам этого не знал, но физику преподавал, словно греб на каноэ, против течения греб, преодолевая свое отвращение к предмету, к ежедневным урокам, к шкодливым физиономиям своих юных учеников.

Турсунбаич отделился от доски, у которой объяснял новый материал, и, красиво жонглируя указкой, стал приближаться к моей парте. При этом моя душа, замершая в состоянии полуотлета приблизительно на том уровне, на котором живописцы рисуют нимбы у святых, рухнула вниз, как мне показалось, с сокрушительным грохотом. Во всяком случае, свою коленку, поддерживающую в парте неприличную книгу, я ощутила уже не деревянной, а свинцовой.

Сейчас должен был разразиться страшный скандал, и его позорные круги достигли бы учительской, комсомольского собрания, родителей. Матери еще можно было бы что-то объяснить. Но мой бедный папа… Он всегда был слишком высокого мнения о своей дочери…

Самое ужасное заключалось в том, что к моим побелевшим от страха устам прикипела дурацкая улыбка, а перед глазами продолжали маршировать стройные фантомы под скабрезным транспарантом. Наверное, это и послужило причиной того, что стряслось в следующую минуту.

Турсунбаич остановился в трех шагах от моей парты, играючи проделал несколько движений указкой, подобно тому, как церемониймейстер манипулирует своим жезлом, и воскликнул:

– Не слышу. А?! Ответа на вопрос не слышу. Что за улыбочка? Чем ты так довольна?

Тогда я, завороженно глядя на летающую в его руках указку, проговорила внятно и даже слегка раздельно, как чтец в филармонии:

– Я довольна своим бюстом…

И вот тут-то, после этого, и случилось, и произошло! Моя бедная душа, ужаснувшись сказанному, оторвалась наконец от тела и с колокольным звоном полетела в – как это теперь называют? – астральный полет. Да-да, я не шучу и не выдумываю. Я даже не могу допустить, что это был обморок, потому что, по свидетельству одноклассников, мое тело продолжало стоять и довольно доброжелательно смотреть на онемевшего Турсунбаича.

А душа моя вылетела в простор сырого весеннего воздуха, совершила два плавных разворота над школьной спортплощадкой с распростертыми на ней лакированными лужами, поднялась повыше и засмеялась: по карнизу окна учительской гулял упитанный сизарь, похожий на нашего завуча, а в сером весеннем небе лежали длинные пышные облака…

Больше ничего не было, потому что я вдруг очнулась и обнаружила, что продолжаю стоять за партой, левой коленкой придерживая книгу, готовую сползти на пол.

В классе висела обморочная тишина, тяжелая, как застойный воздух. Физик по-прежнему стоял в трех шагах, оцепенело на меня уставившись, из чего я предположила, что, может быть, они видели, как я вылетела в окно и сделала два круга над школьным двором…

А главное, я почувствовала такую дикую усталость и такую испарину, что молча, равнодушно, ни на кого не глядя, собрала в портфель свои пожитки и пошла к дверям. Меня не остановили. Мне было все равно…

Во дворе я села на скамеечку, потому что дрожащие ноги меня не держали, и подняла глаза: на третьем этаже, по карнизу окна учительской, все еще разгуливал сизарь. Я не могла видеть его из окна физкабинета. Он действительно был похож на нашего завуча.

«Значит, так оно и есть», – отупело подумала я. Почему-то мне не было страшно. Я чувствовала только, как сырой весенний воздух холодит потный лоб, и в этом было что-то неприятное, словно я прикасалась лбом к зеркальной глуби космического пространства…

…Разумеется, о своем дивном леденящем полете я никому не рассказала, и в классе еще долго восхищались тем, как я «шикарно отбрила Турсунбаича».

…Недели через две Турсунбаич остановил меня после уроков возле школы. На плече у него висела спортивная сумка на длинном ремне, и он машинально крутил ее, но, конечно, так ловко, как с указкой, с сумкой у него не получалось.

– Послушай… – сказал он нерешительно. – Я хотел поговорить с тобой… Насчет того случая, на уроке…

– Извините, пожалуйста, Аркадий Турсунбаевич, – пробормотала я. – Это случайно получилось…

Он не смотрел на меня, выражение лица его было брезгливым, оскорбленным. Такое лицо я видела однажды у прилично одетого прохожего, к которому цеплялся алкаш.

– Ты обратила внимание, что я не дал хода этому делу…

– Спасибо, Аркадий Турсунбаевич…

– Потому что это было бы непедагогично… – На слове «непедагогично» его голос окреп. – Но я хотел лично с тобой поговорить… Выяснить для себя… Что ты за человек… Зачем ты… за что это… этот демарш! – На слове «демарш» его окрепший голос зазвенел. Он крутанул сумку на ремне, та быстро завертелась, ремень скрутился спиралью, дошел до определенной точки равновесия и стал медленно раскручиваться… Мы оба смотрели на этот процесс, и я подумала, что, вероятно, это происходит в согласии с каким-нибудь законом физики, которого я, конечно же, не знаю…

– Извините, пожалуйста, Аркадий Турсунбаевич, – повторила я, чтобы поскорей от Турсунбаича отделаться. – Это случайно получилось…

– Да какое там «случайно»! – воскликнул он. – Ты же нарочно весь урок сидела с пошлой улыбочкой, ждала, когда я внимание обращу. Да вы все, весь класс!.. Вы просто издевательски ко мне относитесь! Что я, не знаю? И ты, и Стрехов, и Корбутина, и… Горшкевич… Да вы это разыграли как по нотам!

– Что вы, Аркадий Турсунбаевич!

– Разыграли, чтоб представить меня идиотом!

Он так расстроился, что светлые его глаза повлажнели и резче выступили скулы.

– Я знаю, вы считаете, что я не педагог, материал плохо объясняю, уроки плохо провожу… А вы? Ну вы-то кто такие, а?! Откуда в вас столько наглой жестокости? Откуда вы знаете, что из вас-то выйдет? Как вы уверены в своих будущих достижениях – просто завидки берут… Впрочем, в ваши годы я тоже весело греб по жизни, – он грустно усмехнулся, и я впервые подумала, что Турсунбаич не так и глуп, как на уроках кажется. – Вот ты со своей улыбочкой… Ты знаешь, что такое двойняшки? – вдруг спросил он. – А?! Это сорок пеленок в день постирай-погладь, на молочную кухню сбегай, ночью как ванька-встанька!..

Он отвернулся, крутанул еще раз сумку, но не дал ей раскрутиться, закинул на плечо.

– А у жены мастит, – хмуро добавил он, – температура под сорок… А я должен на уроках ваши улыбочки рассматривать и хамство ваше выслушивать…

– А вы… Чем лечите? – робко спросила я.

– Да чем только не лечим! – махнул он рукой.

– А мед с мукой пробовали?

– Как? Мед с мукой? – Он недоверчиво взглянул на меня.

– Ну да, это народное средство, – заторопилась я. – Здорово помогает… Берем ложку меда и ложку муки, смешиваем…

– Подожди! – строго сказал он. – Я запишу. – И достал записную книжку. – Значит, ложку меда…

Турсунбаич подробно записал рецепт, переспрашивая меня, уточняя детали. Нет, ей-богу, он был вполне приличный мужик.

– Сегодня же попробуем. Помогает, говоришь?

– Как рукой! – твердо пообещала я. – Аркадий Турсунбаевич… Может, надо прийти помочь? Я умею с детьми… И постирать могу.

– Ну что ты… – смутился он.

– Нет, правда!

– Правда, спасибо, – сказал он и дружески потрепал вдруг меня по плечу. – Завтра к нам бабушка из Ростова приезжает, и соседка помогает… Ну, ладно! – Он спохватился, посмотрел на часы. – Побегу. Мне еще на молочную кухню.

Отойдя на несколько шагов, он обернулся и крикнул:

– Выучи девяносто шестой параграф, я тебя завтра вызову!

– Спасибо, – сказала я, глядя ему вслед.

…Я выучила этот самый девяносто шестой параграф. И поскольку не понимала в нем ни слова, то просто заучила наизусть эти полторы страницы, зазубрила, как зубрят иностранный текст, – у меня всегда была хорошая память… Параграф назывался «Модуль вектора магнитной индукции». Я помню его до сих пор. Несчастный модуль вектора торчит в моей цепкой памяти одиноким обломком. Неуютно ему там, в моей памяти, невесело, как приблудному сироте в чужом доме…

– Спасибо, – пробормотала я, глядя вслед нашему физику.

Понимала ли я тогда, что мы с ним одного поля ягоды, или просто чувствовала некую сообщность душевно неприкаянных? Конечно, тогда я не могла еще в полной мере ощутить горький вкус нелюбимого дела, эту вязкую оскомину. Позже, гораздо позже я вспоминала иногда Турсунбаича и жалела его от души. В тот же миг я просто сочувствовала ему в его житейских трудностях.

А он? Он хотел поддержать меня, хотел подать знак своего прощения и расположения. Он подал этот знак. Как умел.

…И больше я не летала. Хотя в жизни моей, ей-богу, были для этого поводы, и не такие нелепые, как на злополучном уроке физики. Но больше я не летала. Наверное, потому, что с годами стала умнее и печальнее. Я, конечно, не хочу сказать, что ум и печаль – это гири, которые не позволяют нам воспарить над

нашей жизнью. Но, видно, это тяжелое, как ртуть, вещество с годами заполняет пустоты в памяти и в душе.

Те самые пустоты, которые, наполнившись теплой струей воображения, могли бы, подобно воздушному шару, унести нас в просторы холодного весеннего ветра.

Дом за зеленой калиткой

До сих пор не могу понять, что же заставило меня эти дурацкие штучки взять… Забрать… Да что там церемониться! – украсть.

Да-да, налицо была кража. Пусть ерундовая, пусть совершенная восьмилетней девчонкой, но все же кража. Было бы понятно, если б я использовала их по назначению. Все знают, какой интерес проявляют даже маленькие девчонки ко всякой косметической чепухе. Так ведь нет! Я вытряхивала вязкий яркий брусочек губной помады сразу же, выйдя за калитку, – наивная неосмотрительность! И тут же, прополоскав блестящий патрон в прозрачной воде арыка, мчалась домой, ужасно довольная приобретением.

Смешно сказать! Меня волновал прекрасный, как мне казалось, женский профиль, выбитый на крышке патрона. Четкий античный профиль с малюсенькими пластмассовыми кудряшками. И забавлял стаканчик, действовавший в патроне как микроскопический лифт. Он подавал вверх оранжевый столбик помады к толстым морщинистым губам учительницы.

Она это делала с аппетитом. Когда мое и без того немощное внимание совершенно оскудевало и моя кофта, покрытые цыпками руки с обгрызенными ногтями, нос и язык начинали интересовать меня явно больше, чем клавиатура и нотная грамота, учительница вздыхала, протягивала к окну белую ватную руку и, достав из-за решетки патрон с губной помадой, приступала.

– Ну, навай… навай… – лениво бормотала она, глядя в маленькое зеркальце и священнодействуя над губами – то округляла их бубликом, закрашивая углы рта, то сочленяла, старательно вымазывая верхнюю губу о нижнюю. – Четвертым и

пятым пальцами попеременно… Они никуда не годятся… Раз-и, два-и… Считай вслух!

Я ненавидела свои четвертый и пятый пальцы.

Они были не только отвратительны сами по себе – слабые, путающиеся между черными клавишами, они еще были предателями и притворщиками. В обыденной жизни эти пальцы ничем не давали знать о себе, не выпячивались, не лезли не в свое дело.

Стоило же только им завидеть клавиатуру – наглей и противнее четвертого и пятого пальцев на свете ничего не было. Они нажимали не ту ноту, а если и попадали, то слишком слабо. Быстро играть они не могли, а если требовалось, то за компанию прихватывали с собой массу ненужных звуков. Даже если у них не было своего дела в данный момент, они просто нахально торчали в разные стороны, как сломанные велосипедные спицы.

И вообще я прекрасно сознавала, что мне в жизни не подняться до таких высот, как «Элизе». Учительница изредка присаживалась к инструменту и каждый раз играла одно и то же – прекрасную и труднейшую, как мне казалось, пьесу Бетховена «Элизе». Лицо ее в эти моменты выражало лень и спокойствие, она как бы говорила: «Видишь, бестолочь, как можно играть!» И действительно, играла хорошо, хотя было совершенно непонятно, как умещались ее толстые пальцы на клавишах.

Нельзя сказать, что я ненавидела занятия музыкой или не любила учительницу. Мое отношение к этому делу можно было бы назвать чувством обреченности. Так было нужно – заниматься музыкой, как мыть руки перед едой, а ноги перед сном. Уж очень мама хотела этого. К тому же мы успели купить инструмент, а бросить занятия при стоящем в доме инструменте было кощунством. Мне передавался мамин священный ужас перед торчащим без дела инструментом, словно он мог служить укором не только маме, но и мне, и даже когда-нибудь моим детям. Таким образом, моя музыка убивала двух зайцев – оправдывала покупку пианино и, по выражению папы, сокращала мое «арычное» время.

Дом учительницы находился в нескольких трамвайных остановках от нас. А поскольку я из дома выпускалась мамой с космической точностью, то почти всегда попадала на один и тот же трамвай с веселым кондуктором. То есть он не

был веселым, он был как бы веселым. И покрикивал всегда одно и то же:

– А ну, кто храбрее, кто смелее? – и зорко поглядывал на пассажиров. – Кто билетики возьмет?

Пассажиры смеялись и брали билетики. И никто, казалось, никто, кроме самого кондуктора да еще меня, не замечал эту подлую, низкую игру, это издевательство над людьми и презрение к ним. А между тем было совершенно очевидно, что подразумевалось под веселым покрикиванием.

«Это как будто я с вами шучу так, канальи… – подразумевалось. – Но ведь и вы, и я понимаем, что все вы ба-альшие мерзавцы и норовите проехать бесплатно, пока вас не прижмешь».

Подразумевалось еще много другого, чего я выразить и объяснить самой себе не могла, но остро чувствовала.

Вообще в то время я очень остро чувствовала не только всяческую ложь и натянутость в отношениях между людьми, а даже весьма критически относилась к некоторым общепринятым между взрослыми словам. Многое меня коробило и приводило в сильнейшее недоумение. Так, например, когда однажды папа, рассердившись на моего дядю, крикнул: «Ноги моей не будет в этом доме!» – я, помню, сильно удивилась и долго размышляла над тем, почему мой честный и в общем-то толковый папа несет такую дикую чушь. Ведь можно сказать просто: «Больше я туда не приду». По этому поводу я представляла почему-то, как папину ногу осторожно и бережно отделяют от него и торжественно несут куда-то, а папа, обнаружив ошибочность маршрута, отчаянно машет руками и кричит: «Нет-нет! Не туда! В этом доме ноги моей больше не будет!»

Маленький, в две комнаты, с застекленной терраской дом, в котором жила учительница с мужем, завершал собой тихий тупичок.

Толкнув изумрудно-зеленую калитку, я попадала во двор, который нес на себе отпечаток некой тайны. Здесь даже в самые знойные дни было прохладно и тенисто. Весь двор поверху перекрывали густо разросшиеся виноградные лозы. Они карабкались по специально врытым для них деревянным кольям, стелились сверху по перекрытиям, свешивая, словно в изнеможении, щедрые райские кисти. Жемчужно-зеленоватые «дамские пальчики»; круглый, лиловый, с

прожилками «крымский»; черный «бескосточный»…

Кажется, виноградные лозы забирались даже на крышу и там продолжали свое греховное пиршество с упоительно знойным солнцем.

Вспугнутые ветерком листья о чем-то суетливо лопотали, тщетно пытаясь спрятать редкие солнечные блики. Ослепительные белые блики плясали по рыжему кирпичу дорожки, по моей неприкрытой макушке, по нотной папке.

К деревянным перекрытиям всегда была прислонена грубо сколоченная лестница. На ней неизменно стоял муж моей учительницы – грузный, плохо выбритый пожилой человек в синих бриджах и голубой майке. Он все время возился с виноградом – срезал спелые гроздья, подвязывал лозы. Иногда я видела его на крыше.

Наверное, он и там контролировал тайную виноградную жизнь.

Муж моей учительницы был удивительным субъектом. Он никогда не замечал меня, не отвечал на мои неизменно вежливые приветствия, продолжая свою нескончаемую возню с виноградом. Но когда, отсидев положенную дозу за инструментом, я направлялась к калитке, каждый раз происходило одно и то же.

Муж моей учительницы, почему-то воровато оглянувшись на зарешеченное окно комнаты, молча хватал меня за руку и совал большую виноградную кисть. Лицо при этом ничего не выражало и было скорее сердитым, чем добрым.

Всучив виноградную кисть, он, так же воровато поглядывая на окно, подталкивал меня к калитке, мол: «Иди, иди, знай свое дело».

Пролепетав «спасибо», я выскакивала за калитку и несколько метров мчалась по инерции. Затем тормозила и шла медленно, неторопливо отрывая от кисти и отправляя в рот по ягодке.

Скоро я настолько привыкла к виноградному подношению, что, проходя мимо мужа моей учительницы, чуть-чуть замедляла шаги, опасаясь, что он не успеет схватить меня за руку.

Помнится, довольно длительное время муж учительницы служил мне объектом для размышлений. Мне казалась удивительной пропасть между самим фактом дарения винограда и тем выражением лица, которое сопровождало этот факт дарения. Я размышляла: кто он – злой человек, которого неведомая сила заставляет угощать меня виноградом, или, наоборот, очень добрый человек, которого опять-таки неведомая, на этот случай уже злая сила, нарядив в дурацкие бриджи и майку, заставляет хранить молчание и угрюмость на небритом лице.

Я была довольно занудной ученицей, поэтому весьма извинительно, что время от времени моей учительнице осточертевало возиться со мной.

– Этот такт повторить двадцать раз, – говорила она и выходила из комнаты. Мне казалось, что выходит она в тенистый виноградный дворик для того, чтобы зарядиться спокойным теплом летнего дня, насладиться зрелищем виноградного изобилия и успокоить себя, что занятия с бездарной ученицей дело преходящее.

Я же равнодушно повторяла нужный такт ровно столько, сколько требовалось, при этом блуждая взглядом по стенам, глядя в окно.

И вот так-то однажды я и обнаружила между решеткой и оконной рамой то, чему раньше совершенно не придавала значения. Патроны с губной помадой – красные, блестящие желтые, белые – лежали, казалось, никому не нужные и даже слегка запыленные. Но поразила меня не столько их кажущаяся ненужность – нет, я знала, что учительница тщательно ухаживает за своими губами, – а их количество. Зачем столько помады для одного рта?

Доиграв такт ровно столько, сколько полагалось, я встала из-за пианино и, ощущая некоторое деловое нетерпение, стала осматривать все это богатство.

В какой момент мелькнула у меня мысль о том, что недурно бы иметь хотя бы одну такую вещичку? Каков был ход моих рассуждений? И вообще, знала ли я тогда, что взять чужую вещь – это значит украсть?

Да, конечно, я знала, что не следует брать чужого. Без спроса. Но о каком спросе могла идти речь при таком количестве одинаковых губных помад? Ведь их было так много! Чуть ли не семь-восемь… Словом, я выбрала для себя самый, на мой

взгляд, скромный – белый патрон – и сунула его в карман платья.

В нашем огромном дворе, кишащем ребятней всех возрастов, мое имущество имело огромный успех. Я и сейчас отлично помню, что провела блестящую коммерческую операцию, выменяв на патрон две Колькины пуговицы. Эти пуговицы – большие, покрытые сверкающей желтой краской – особенно ценились у нас, даже играли роль денег. Имея несколько таких пуговиц, Колька мог даже заполучить на время у Жирного кожаный мяч. Словом, человек, обладающий двумя-тремя такими пуговицами, был в нашем дворе влиятельной личностью.

Гораздо позже, изучая в консерватории политэкономию, главу «Деньги, их происхождение», я поняла, в чем заключалась сила Колькиных пуговиц и почему они у нас выполняли функцию денежных единиц. Ведь их не каждый мог иметь, а уж доставать – только сам Колька, который срезал роскошные пуговицы с материного пальто. Делал он это время от времени и, по-моему, по той же причине, по которой я брала патрончики с помадой. Пуговиц, на Колькин взгляд, тоже было много. Чуть ли не девять-десять.

В другой раз у учительницы я уже не затруднялась рассуждениями, а просто выбрала патрон покрасивее, считая себя компаньоном по владению этими штучками. Я думаю даже, что рассуждала весьма логично, ведь у учительницы их было все еще много, а у меня только одна.

А в следующий раз я просто решила, что будет справедливо, если красивых тюбиков с губной помадой у нас с учительницей станет поровну. Коричневый пластмассовый патрон проследовал в мой карман.

В это время со двора возвратилась учительница. Я очень спокойно сидела на крутящемся черном табурете, положив руки на клавиатуру. Учительница села на свой стул рядом и помолчала.

– В последнее время, – мягко и лениво, как всегда, проговорила она, – у меня стала пропадать губная помада… Ты не знаешь, кто ее крадет?

Что удержало меня от признания? Страшное слово, которое она употребила для обозначения пропажи и которое никогда не приходило мне в голову применительно к моим действиям? Или нечто другое?.. Моя учительница,

говорящая и двигающаяся всегда лениво и мягко, как сытая кошка, и на этот раз была так же мягка и ленива. Но совсем по-другому. Ее мягкость была затаенной готовностью рыси к прыжку.

Но в тот момент я ничего не могла объяснить себе, только чувствовала, что начинает происходить что-то очень тяжкое и неприятное. Это и заставило меня молча мотнуть головой, успокоив себя, правда, тем, что потом я все улажу.

– Не знаешь… А это что? – И она молниеносным, но в то же время очень мягким движением сунула руку в мой карман и вытащила патрон с губной помадой.

Я молчала. Самое интересное заключалось в том, что мне было стыдно не столько потому, что меня уличили в краже, сколько потому, что я врала. Противная, очень противная штука вранье! Все мои мысли в этот момент были заняты не преступностью кражи, а преступностью вранья. Моей же учительнице было наплевать на вранье, она словно и не сомневалась, что так и будет. Ее возмущение было сфокусировано на факте кражи. Вот так мы и сидели несколько минут, не зная, с какого конца подойти друг к другу.

– Это кошмар… воровать! – наконец сказала она. – Куда смотрят твои родители… Ты ведь, наверное, везде воруешь?

– Нет! – простодушно возразила я, удивляясь про себя, что вот далась же ей эта кража, в то время как я ужасно наврала! И так же простодушно добавила: – Я их вам назад принесу, они мне больше не нужны. Заберу у Кольки и принесу…

– У какого Кольки?! – негодующе и брезгливо спросила она.

– С нашего двора. У него отец с одной рукой, – охотно объяснила я.

– Что за чушь! – она оскорбилась, по-моему, за то, что я никак не хотела проникнуться всем ужасом своего порока.

– Он на фронте был, в танке горел! – сказала я, в свою очередь оскорбляясь за Колькиного отца.

– А раньше тебя никогда не ловили с поличным? – с интересом спросила она.

– Нет! – поспешно ответила я, наивно полагая, что мой ответ разуверит ее в предположениях касательно моего прошлого.

Кроме того, мне активно не понравилось слово «с поличным». Я как будто интуитивно чувствовала, что оно не имеет ко мне никакого отношения, и, наверное, поэтому так поспешила отмежеваться от него.

– В тебе вообще есть много такого… неприятного… – строго и вместе с тем лениво продолжала она. – Я бы даже сказала… авантюрного! Вот, например, я уже несколько раз наблюдала из окна, как ты выпрашиваешь виноград у Петра Матвеича. А это очень, очень некрасиво! Неужели твоя мама не покупает виноград?

– У какого Петра Матвеича? – тупо переспросила я на всякий случай, хотя уже догадалась, что она имеет в виду своего мужа. Но на это оскорбительное обвинение промолчала, удерживаемая, по всей видимости, чисто детской порядочностью и еще каким-то смутным чувством сообщничества с ее мужем.

Через несколько минут ее возмущение и брезгливость сменились озабоченностью моей дальнейшей судьбой.

– Это ужасно… ужасно… – повторила она, пригорюнившись, машинально ковыряя карандашиком между клавишами. Я смирно сидела рядом, напряженно вытянув спину, уже не веря, что где-то есть пыльные улицы со свободными людьми, что где-то есть наш двор и наша квартира. – Да, ужасно… Что же с тобой будет? Послушай, девочка, а ты не больна?

– Нет! – удивившись, ответила я. – Почему больна?

– Есть такая болезнь – клептомания. Когда человек и рад бы не воровать, да не может. Болезнь, понимаешь?

Нет, я такого не понимала. Болезнь – это дело вполне определенное. Это когда опухают гланды и я не иду в школу. Или когда у мамы бывает сердечный приступ и она вызывает врача, чтобы он дал ей «бюллетень» – синюю бумагу, в которой написано, что мама действительно болела, а не валяла дурака.

– Это очень серьезная болезнь, – продолжала моя учительница, вроде бы даже увлекаясь. – Ею один граф болел. Богатый был, имениями владел, а вот у приятеля нет-нет да что-то стянет. Хоть коробок спичек, а стянет!

Я подумала, что граф был порядочный дурак и что интересно, если человек украдет, скажем, велосипед, даст ли врач ему бюллетень? Ведь если это болезнь?..

Но чем дольше я об этом думала, тем хуже мне становилось. Я со страхом стала прислушиваться к себе – не хочется ли мне еще что-нибудь украсть у моей учительницы? Но красть больше ничего не хотелось, а хотелось только скорей убежать отсюда и никогда больше не возвращаться.

Вскоре пришел следующий ученик, но учительница так увлеклась моим воспитанием, что, не обращая на него внимания, продолжала, то с ужасом раскрывая глаза, то зажмуривая их, что-то говорить.

Впрочем, я уже не слушала ее. Все больше напрягаясь, уже не на шутку прислушиваясь к своим ощущениям и желаниям, я молча стала собирать ноты в папку.

– Да, так вот, – сказала она, – помада стоила, – она задумалась, – впрочем, я ее почти использовала. В общем, передай маме, чтобы прислала с тобой три рубля. Или нет, я напишу ей записку, а то ты не передашь.

Выйдя на террасу, я тут же развернула записку. Там было написано: «Уважаемая такая-то! Ваша дочь ворует. У меня она украла три шт. губной пом. Прошу возместить три руб. И заняться воспитанием своего реб.»

Свернув вчетверо записку и сунув ее в папку, я медленно пошла к калитке.

Когда я поравнялась с мужем учительницы и он, как всегда, стал совать в мою руку теплую от зноя кисть винограда, я, словно проснувшись, с отвращением оттолкнула его и помчалась по дорожке к калитке.

Тогда я не оглянулась на него. А сейчас, много лет спустя, я думаю: если бы оглянулась, что увидела бы на его лице? Недоумение, досаду? А может быть,

боль и тоску бездетности? И еще многое, многое другое?

Нет, конечно, нет. Все это только мое воображение. Скорее всего, он просто рассердился на глупую невоспитанную девчонку.

Свой путь домой я помню до сих пор. Я даже помню, о чем думала. Мне было так плохо, что я даже не плакала. На трамвае я не поехала, а пошла пешком кружным путем, через базарчик, чтобы не так скоро прийти домой. На базарчике я останавливалась перед горками золотисто-оранжевой кураги, черного кишмиша, крупных орехов и с тайным страхом и тоской спрашивала себя: что из этого мне хочется украсть?

Перед деревянной скамьей с аккуратной, нарезанной большими кубами сушеной дыней я стояла так долго, что молодой веселый узбек в черно-белой тюбетейке отрезал ножом кусок и протянул мне: «Эй, кизимка!» – на что я, в ужасе замотав головой, попятилась и побежала через базарчик.

– Что так долго! – спросила мама, открыв дверь. – Зазанималась?

«Бедная мамочка…» – подумала я, почему-то очень жалея ее.

Мы пообедали без папы, который в тот день задержался на работе, и я стала молча собирать со стола.

Видя, что я иду мыть посуду, мама, как всегда, на всякий случай сказала: «Вымой посуду…» – и я совсем не разозлилась. По-видимому, на мытье посуды у меня ушла львиная доля энергии, потому что я вдруг почувствовала, что больше не могу.

Я зашла в комнату, где мама проверяла ученические контрольные, и как-то очень опущенно, вяло, на выдохе сказала:

– Мам, я воровка…

– Чего-чего? – спросила мама, подняв от тетрадей голову и засмеявшись.

«Бедная мамочка!» – опять подумала я и повторила:

– Я украла губную помаду. Вот, – и положила на стол записку.

По мере того как мама читала записку, лицо ее все больше вытягивалось, и мне становилось все жальче и жальче ее, а заодно и себя тоже.

– Три шт. губной пом., возместить три руб., воспитанием реб., – как-то странно сказала мама. – Чудесно…

Потом в комнате наступила очень тихая тишина, и мне стало так плохо, что я не могла на маму смотреть.

– Отцу будем говорить? – спросила мама. С таким же успехом можно было спросить у преступника, сажать его на электрический стул или, может быть, не надо… С отцом были шутки плохи. Отец и уши мог надрать, чего доброго. Но я пожала плечами и ничего не сказала.

– Слушай, а зачем тебе эта ерунда была нужна? – недоуменно спросила мама.

– Не знаю… – сдавленно прошептала я и заплакала. Теперь я и в самом деле не знала, зачем мне нужны были те штучки.

– Ну да, – растерянно сказала мама, – понимаю. Я ведь не крашу губы, тебе это было в диковинку…

Беседы о вреде воровства у нас так и не получилось. Кажется, мама все-таки рассказала отцу эту историю, уже не помню, не это главное.

Главным было то, что много лет подряд после этого случая, даже в юности, я продолжала носить в себе страшную тайну своей порочности. И когда при мне кто-нибудь рассказывал, что где-то кого-то обокрали и унесли ценностей на три тысячи, я каждый раз внутренне вздрагивала и думала: «А ведь я тоже… такая…» И боялась, когда меня оставляли одну в чужой квартире хотя бы на минуту. Я боялась, что во мне проснется таинственная графская болезнь.

Такой страшной силы заряд презрения к себе сообщила мне мягкая ленивая женщина, превосходно игравшая изящную пьесу Бетховена «Элизе».

Само собой разумеется, что после этого случая я перестала брать уроки музыки в маленьком доме за зеленой калиткой. Впрочем, для жертвоприношений музыкальному идолу у нас в семье мамой было придумано кое-что иное. Но это уже совсем, совсем другая история.

Этот чудной Алтухов

Когда-нибудь я обязательно опишу его. Раскрою толстую тетрадь в клетку, чуть-чуть отступлю от края и подумаю, с чего бы начать… Да, когда-нибудь я обязательно опишу его. И, безусловно, начну с глаз.

«Глаза у него были, – напишу я, – как у выжившего из ума декабриста». И это будет началом его портрета. А потом мне надоест писать, я отвернусь к окну, за которым будет надлежащее время года – зима или осень, а еще лучше лето, – и вспомню наш последний разговор (хотя разговором его вряд ли можно назвать, да мы, пожалуй, и вообще никогда не беседовали с ним как нормальные люди).

…Это была пустая аудитория, та самая, с пианино у окна. Я сидела и переписывала вопросы к семинару. И вот тут заглянул мой обожаемый Алтухов.

Он был ужасный урод, самый настоящий обаятельный урод. Глаза у него были настолько широко поставлены, что находились ближе к вискам, чем к переносице. И казалось, природа предусматривала наличие третьего, циклопического глаза, но потом забыла его ввинтить, и место теперь пустовало. Глаза были круглые, черные, как у встревоженного цыпленка. Ходил он ссутулившись, не спеша и слегка враскачку, отчего создавалось впечатление, что этому неприкаянному человеку абсолютно нечего делать и некуда деть себя…

– Здравствуй, Диночка! – сказал он и вошел. – Как дела? Давно мы с тобой не говорили…

– Да? А разве мы когда-нибудь вообще о чем-нибудь говорили? – спокойно спросила я.

– Слушай, слушай, я расскажу сейчас что-то интересное. – Он сел за пианино.

Я подошла и встала рядом. А он сидел, повернув голову к окну, и, легко аккомпанируя себе короткими аккордами, насвистывал какую-то песенку. Долго насвистывал.

– Ну? – наконец спросила я. – Внемлю. Ты, кажется, собирался что-то поведать мне.

– А? Чего? – рассеянно спросил он, перестав играть и недоуменно смотря на меня.

Я молча улыбнулась.

– А, ну да! Вот послушай песенку… – И он, опять засвистев, отвернулся к окну, думая о чем-то своем.

Я обошла пианино и заглянула в глаза уроду Алтухову. И опять он мне напомнил сумасшедшего декабриста, который день и ночь стонал: «Погибла идея! Погибло дело!»

– Вот так тебя доконало это восстание на Сенатской площади, – сказала я.

Он кивнул, продолжая осторожно подбирать какие-то гармонии. Он всегда кивал, когда не слушал. Я думаю, это для того, чтобы ему не мешали думать…

Он был талантливый и смешной. На мой взгляд – редкое и милое сочетание. Я не могу сказать определенно, в чем выражался его талант. Он был очень музыкален, он был, как говорится среди музыкантов, слухачом. Но не это главное. Он принадлежал к той породе людей, которые способны мгновенно воплощать в слова и жесты все удачное и прекрасное, что мелькает в их воображении, воплощать метко и образно, не тратя времени на режиссуру. У него получалось все так легко и свободно, словно он долго репетировал. Алтухов изумительно владел своим телом, интонациями своего голоса, мышцами своего лица и мог моментально воспроизвести любой увиденный где-то жест или движение, любой услышанный разговор. Он изображал так, что мы все обалдевали. Он чертовски захватывающе рассказывал всякие небылицы из своей

жизни. И мы верили. И мы хохотали. И глядели на него восторженными, влюбленными глазами.

И вдруг он уходил. Он поднимал воротник своего синего плаща, брал под мышку футляр со скрипкой и уходил по узенькому тротуару прочь от консерватории, не появляясь в ней неделями.

О существовании Юрки я узнала в тот день, когда у нас пропала лекция по «Анализу музыкальных форм». Бог знает, из-за чего пропала – то ли преподаватель заболел, то ли очередное мероприятие на кафедре проводилось, – мы толком и не узнали. Алтухов как-то сразу заморочил мне голову, и мы от нечего делать пошли мотаться по магазинам.

Это было очень увлекательное путешествие. «Пойдем знакомиться с манекенами! – сказал Алтухов. – Заведем себе парочку друзей. Они прелесть, эти манекены, знаешь? Вежливые, милые, без претензий на духовное богатство». Я засмеялась.

В витрине магазина музыкальных инструментов стояла девушка-манекен со скрипкой. Шейка скрипки покоилась на ее раскрытой гипсовой ладошке, а удивленно-приветливые гипсовые глаза созерцали пульт, на котором стоял перевернутый вверх ногами «Самоучитель игры на баяне». Манекен не был приспособлен для демонстрации музыкального инструмента и был похож на девушку, играющую в «стоп, замри!». Правая рука с нечеловечески длинными пальцами указывала на левую, и девушка как бы предлагала нам взглянуть и подивиться, что это за штуковину вставили ей между шеей и кистью левой руки.

– Слушай, слушай! – вдруг воскликнул Алтухов и остановился. – Как мне грустно от этой девушки! Почему? Наверное, потому, что мы с ней похожи. А знаешь чем? – Он засмеялся.

– Тем, что одинаково разбираетесь в скрипичном репертуаре! – съязвила я.

– Тем, что она успела сделать в жизни примерно столько же, сколько и я… – не обращая внимания на мой выпад, серьезно сказал он. – А ведь она существует гораздо меньше, а? – И задумался, поеживаясь от ветра и пряча подбородок в ворсистый коричневый шарф.

Мы обошли еще несколько магазинов, и вот тут я заметила, что его тянет в отдел игрушек. А меня туда почему-то не тянуло. Я с трудом затащила его в отдел верхней одежды и заставляла держать вешалки, пока примеряла всякие пальто…

Рядом со мной какая-то маленькая толстая женщина крутилась возле зеркала, пытаясь увидеть в нем свою спину, вернее, хлястик на спине. Ее светлые волосы были скручены желтой резинкой на затылке в пучочек, а зубы почему-то росли здорово вперед. Очень вперед. Признаться, я еще в жизни своей не видала женщину с такими короткими толстыми ногами и чтобы зубы у нее настолько росли вперед, что казались самым важным органом осязания.

Я аккуратно повесила пальто на вешалку, которую Алтухов держал, как робот, беспомощно оглядываясь в толпе женщин, и тихо сказала:

– Алтухович, знаешь, если бы у меня была такая внешность, я бы уже не покупала себе пальто. Я бы уже ничего не покупала.

– Ей холодно зимой, понимаешь… – ответил он.

– Но если ты когда-нибудь заметишь, что у меня стали такие ноги, убей меня, пожалуйста.

– Отстань, – сказал он и все-таки пробился в отдел игрушек.

Я бы могла спросить, для кого это он старается. Может быть, для племянника или какого-нибудь соседа. Но мы с ним вообще никогда не разговаривали нормально, поэтому я только кивнула в сторону пестрых коньков-каталок и сказала:

– Может быть, лошадку купишь?

– Да ну… – отозвался он, рассеянно оглядывая прилавок. – У Юрки и без этого столько лошадей, что он вполне может сколотить конармию.

На полпути к трамвайной остановке мы нашли на асфальте живую тепленькую летучую мышь. Алтухов держал ее на ладони, приподнимая то одно

перепончатое крылышко, то другое, и что-то долго объяснял мне – наверное, объяснял, как можно летать при помощи таких штук. А я все время смотрела на него и думала, что если бы старик Алтухов закрыл минут на пять один глаз, а другой оставил открытым, то он бы стал похож на слепого рапсода со звездой во лбу. То есть она сначала вроде бы сияла во лбу, а потом скатилась на висок под бровь…

Мы решили положить мышь в водосточную трубу. Наверное, ей там будет уютней, ведь, надо полагать, у летучих мышей несколько иные взгляды на уют, чем у нас. Впрочем, потом, на остановке, Алтухов вспомнил о ней и сказал: «Зря мы ее в трубу положили, там темно. Она еще подумает, что ночь наступила, вылетит и расстроится…» Он провел ладонью по лицу сверху вниз, как актер, надевающий маску расстроенной летучей мыши, и я засмеялась, потому что вместо великого комика и трагика Алтухова на меня круглыми испуганными глазами смотрела расстроенная летучая мышь… Так мы ничего Юрке в тот день и не выбрали.

А самого Юрку я увидела на ноябрьской демонстрации. Нам было велено собраться ровно в восемь возле консерватории, а я почему-то явилась на полчаса раньше, стояла и злилась на себя. И тут подходит Алтухов и за руку держит мальчишку, который время от времени от радостного ожидания очень высоко подпрыгивает.

– Это Динка, – сказал ему про меня Алтухов. – Вы, дети, постойте, а я на минутку в киоск. За сигаретами.

– Хорошо твоему Алтухову! – сказала я мальчику. – Он думает, если ему целых двадцать семь лет и он где только по свету не мотался, так уж всех людей можно детьми обзывать…

– А оркестр будет? – радостно спросил парнишка и подпрыгнул. Здорово высоко он прыгал. И выговаривал букву «р». А я очень уважаю детей, которые вопреки шаблону выговаривают букву «р».

– Ну, это зависит от того, как тебя зовут, – ответила я.

– Юр-р-р-ка! – заорал он. Он безумно хотел, чтобы заиграл наш студенческий оркестр, наверное, Алтухов обещал.

– Будет, будет. Сейчас выйдут наши молодцы и начнут дуть в свои трубы. Морды у них станут красными, а трубить они будут так фальшиво, что даже ты услышишь. Но тебе, я понимаю, все равно…

У меня создавалось впечатление, что прыжки в высоту были главным занятием в его жизни. Он сосредоточивался, вытягивал руки по швам и подпрыгивал вверх солдатиком.

– Ты опять?! – грозно крикнул Алтухов. В зубах у него торчала сигарета, и глаза были круглые и веселые. – Я предупреждал тебя, ты ударишься головой о звезды, и тогда я ни за что не отвечаю!

– Где же звезды? – тихо и испуганно спросил Юрка, прикрыв ладошкой затылок.

– Ну, тогда собьешь с ног Динку-пианистку. А ей, как летчику, без ног – никуда. На педали-то как нажимать?

– Она на велике ездит? На гончем?!

– На легавом, – ответил этот великий воспитатель Алтухов. – На легавом с отвислыми ушами.

Он взглянул на меня своими дурацкими круглыми глазами. На этот раз взгляд был насмешливым и ласковым. И это было особенно оскорбительно. Потому что я знала: это его дар – сказать что-нибудь настолько образно и метко, чтобы слушатель сразу увидел сказанное в действии. И я знала, что сейчас представляюсь Юрке верхом на смешном легавом велосипеде с отвислыми ушами. Уж не знаю, каким он казался Юрке, этот велосипед, но лично мне он представлялся довольно ясно…

– Слушай, знаешь что! – разозлившись и от растерянности не зная, что ему ответить, выпалила я. – Вынь, наконец, свои руки из карманов плаща! Это неприлично!

– А-а, вздор… – не вынимая рук из карманов, лениво ответил он. – Предрассудок с тех времен, когда какой-нибудь ковбой носил в кармане плаща огнестрельное оружие. Тогда было просто страшно, если навстречу шел человек, засунув руки в

карманы.

Оказывается, у них сегодня была разработана целая программа действий. После демонстрации – просмотр какого-то нового цветного художественного фильма, потом – катание на самой большой карусели в мире, той, что в парке культуры и отдыха (сколько помню себя, карусель запускал один и тот же пьяный дядька, понятия не имеющий о времени, в результате чего одна группа детей каталась полчаса, другая – десять минут), и в заключение, как мощный аккорд «Богатырской симфонии», – сто граммов крем-брюле в кафе «Снежинка»! (Не замечали, что во всех городах имеются кафе именно с таким названием?)

– Если вы не пригласите меня с собой, – пригрозила я, – вы будете иметь дикий скандал!

И они испугались. И пригласили меня с собой. Мы сидели под красным пластиковым тентом и копались ложечками в тонконогих розетках. Солнечные лучи, проникая сквозь тент, полыхали на Юркиной и алтуховской физиономиях алым пламенем.

– А ведь ты сегодня еще ничего не наврал, – заметила я. – Ну-ка, давай начинай, рассказывай.

– А что? Как я тонул этим летом, рассказать? Только держитесь покрепче за ложки, а то упадете со стульев. Этим летом я отдыхал в… – и замолчал. Как будто задумался. Это он всегда нам так нервы трепал.

Я подождала немного и нетерпеливо спросила:

– Так где ты отдыхал этим летом, старый черт?

– В горах, – сказал он и посмотрел на нас своими круглыми черными глазами, расставленными настолько широко, что они были похожи на два удаленных друг от друга маяка в штормующем море. – Понимаете, дети, – тихим и красивым голосом сказал он, – представляете, дети… Снег – и белые березы!

Это в горах-то белые березы!.. А впрочем, не берусь утверждать обратное. Он так красиво рассказывает, вернее, он так красиво показывает, этот врун

Алтухов!

– Речка там – чокнутая. В ней не то что купаться – умываться было невозможно. Того и гляди наклонишься, а голову оторвет течением и понесет, как божье яблоко, – только глазами вращай. Ну, и играли как-то мы с ребятами на берегу в волейбол. И вдруг мяч ветром на воду снесло. Я наклонился, чтобы рукой достать, оступился и – шарах! – в воду.

Он замолчал. Но живой же он был, этот Алтухов, сидел же сейчас рядом с нами!

– Метра два по инерции, ничего не понимая, плыл за мячом, а потом так скрутило, завертело, что не до мяча стало… Меня на камни несет, я за них цепляюсь, а они скользкие, холодные, острые, только руки все поранил. Тут меня опять подняло, вынырнул и ослеп – солнце вверху тяжелое, охристое, падает на голову, как кулак. «Нет! – думаю. – Сволочь! – думаю. – Ах ты, сволочь!» Не помню, что дальше. Кажется, швырнуло меня на камни у берега, я мертвой хваткой во что-то вцепился, выполз. Выполз – труп. Упал в какие-то кусты и сижу, как кусок студня. Сижу, и все… Подбегают ребята, говорят: «А здорово ты за этим мячом плыл, мы по берегу бежали, спорили: поймает или не поймает. Ну на кой тебе этот мяч сдался?» А я сижу в колючках, обхватил голову порезанными окровавленными руками, плачу и смеюсь…

Я смотрела на Юрку. Он спокойно слушал, он совсем не волновался за Алтухова, он, наверное, думал, что с его Алтуховым никогда ничего не случится.

На следующий день Алтухов явился в консерваторию позже обычного. Он был в очень линялой зеленой рубашке.

– Я ее постирал так тихонько, ласково… – объяснил он. – А она взяла и слиняла. Вот дура, а? – и смеется.

Я отозвала его в сторону.

– Признайся, злостный алиментщик Алтухов, это твой ребенок? – грозно спросила я.

– Это не мой ребенок, – ответил он. – Но это – мой сын. Я понятно объясняю?

– Ну конечно! – сказала я. – Ты украл его, когда кочевал с пушкинскими цыганами. Разве не так? «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют…» Или Юрка – сын несчастной падшей женщины, которую ты наставил на путь истинный, а потом великодушно взял в жены с ребенком?

– Не дай бог на ней жениться, – вдруг серьезно и как-то брезгливо сказал он. – Это – ужасная женщина, а что касается Юрки, ты почти права: я собираюсь его отнять и воспитывать… А ты – клопик. – Он легко провел указательным пальцем по моему носу, от переносицы до кончика. – Она когда-то была моей любовницей, ясно?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Отрывок из романа Д. Рубиной «Наполеонов обоз». Книга I: «Рябиновый клин».

Купить: https://tellnovel.com/dina-rubina/pri-chem-tut-devochka

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити